



Надежда СЕРЕДИНА

г. Москва

— Я люблю Испанию, — мечтательно произнесла Катя.

— А вы знаете испанский? — отозвалась испанка. — No pasaran!

— Чуть-чуть, — пожала плечами русская. — No pasaran!

— Не знаете испанский и любите Испанию? Удивительно!

— А вы? — Катя смотрела на даму, которая сидела у иллюминатора: лицо слегка вытянуто, глаза карие, темперамент кавказский.

— Я всегда большая патриотка. Я испанка! Проблема идентичности, патриотизма — это сложный вопрос.

Самолёт набрал высоту, женщины отстегнули ремни.

— Я всегда хотела вернуться в Испанию. Но я также всегда хотела приехать в Болшево, дом 91 83. Там космическая деятельность — гордость, и мы, дети, — гордость.

— Вернуться... в Испанию?

— Да. Мы учились здесь дружно.

— Простите, как вас зовут?

— Хосефина.

— Вы испанка? Удивительно! А я думала, наша.

— Да. Я ваша, — испанка рассмеялась.

— Это правда. Мы были маленькие дети, когда у нас шла гражданская война в 37-м году, вы знаете. Три с половиной тысячи детей посадили на корабль и отправили в Россию. Уберечь, сохранить от войны ужасов. Думали, два-три года... И вернёмся домой, на родину. А потом попали в другую войну.

— Вы так хорошо говорите по-русски.

— Да. Но патриотизм в нас всегда был. Нас сначала не разлучали, даже на занятиях мы были в одной группе. Надо. Стали формировать классы. Учиться. А когда Сталин умер, нам разрешено было

вернуться. Как говорит наш Лев Мелихов, меня просто пришибло к России. Он глубоко любит русскую глубинку. Отец его уехал в Испанию. А он – потомок сына Испании. Фотохудожник, Майю Плисецкую снимал. Темперамент испанский, а любит Россию. Мы жили здесь в детском доме для испанских детей. У нас расцветало бурным цветом дружелюбие. Дети были. Наши отцы через Пиренейские горы, через горные ущелья переносили детей – кто привязывал к себе за спину, кто так нёс. Несли на корабль. С корабля, как у вас говорят, на бал – в детский дом. По семьям не раздавали: надо сохранить культуру, язык. Как говорил председатель общества краеведов Владимир Малых. Он и пилотку сохранил, в каких мы ходили. No pasaran! Здравствуй, привет! В 38-м – агрессия. Фашизм. У Долорес Ибаррури сын погиб, защищая Сталинград – лётчик был. Восемь испанских воинов погибли под Москвой, защищая город Москву. А мы – дети, которые прошли войну в детском возрасте. Мы все верили, что будет мир, что мы вернёмся домой скоро.

Стюардесса подавала напитки. Я выбрала яблочный сок, испанка – апельсиновый.

Её соотечественница Люнчина улыбалась, её кресло – через меня. Я предложила ей поменяться, чтобы они сидели рядом.

...Прилетели. В Барселоне вечная весна.

«Но если вы не были в Мадриде, то вы не были в Испании!» Через неделю продолжаю путешествие.

No pasaran! Мадрид! Легла на траву. Подложила рюкзак под голову. Хорошо. От травы – свежесть утренняя, от земли – сила богатырская, от неба – свет бесконечный. Ночной автобус из Барселоны в Мадрид укачал.

И когда открыла глаза – поняла, что спала. Спала по-настоящему. Десять минут? Час? В парке под самой красивой пальмой Мадрида время остановилось. На прекрасном чистом, ухоженном газоне – улыбающиеся люди, небо над головой светлое и радостная бодрость. Куда делась усталость?!

Вышла в центре. Из метро – в город. На самой красивой станции – её указала мне девушка.

...И вот я в мадридском треугольнике. Налёво, направо и наискосок идут три дороги-улицы. Не квадрат, а треугольник начала улиц. Здесь другое измерение, углы острее.

Пошла навстречу восходящему мадридскому солнцу и пропала в этой красоте. Музей под открытым небом! Сколок другого мира, не славянского, не советского.

Мотоциклы-козлики рогатые и велосипеды-ослики ушастые на привязи цепной уткнулись в тротуары. А по ним – ножки в босоножках... Мужчин много. Больше, чем босоножек.

Европейцев в России ещё не так много, и они, выделяясь, запоминаются. А здесь все европейцы. Русская я одна.

Русские интердевочки думают, что всякий итальянец или испанец неподражаем. А он просто из другого мира, нам незнакомо. Здесь каждый – иностранец. А я одна.

Гоняюсь за автобусом-миражом. Устала. Автобус проезжает мимо. Зашла в кафе. Хочу пить. Говорю бармену по-английски. Бармен испанец-патриот, говорит только по-испански. Если он не даст пить, я умру тут у стойки с десятками напитков. По-английски говорит один из посетителей – Игнасио. Игнасио переводит. Приносят апельсиновый сок со льдом. Жар переходит в кусочки льда и растворяется. Хорошо. Тают льдинки, тают. Легкая музыка витает. Игнасио улыбается. Я из России. Он улыбается, оплачивает апельсиновый сок. Говорю спасибо. Он тронут моим «спасибо». Я в Мадриде могу быть только один день. О! Где ваш отель? В Барселоне. О!

Вышли. Идём, говорим по-английски. Ищем нужный транспорт. Я набила себе шишку – шла за Игнасио и засмотрелась на промелькнувший автобус. Стукнулась о веску головой.

Игнасио останавливает веселый солнечный туристический автобус, объясняет гида, где мне выйти.

Я хочу видеть только самые красивые места в Мадриде. Поднимаюсь на ступеньку, на вторую. И оглядываюсь. Игнасио пишет что-то. А автобус стоит, не трогается. Игнасио протягивает лист бумаги.

Лист в моей руке. Игнасио улыбается. Авто-

бус медленно проплывает мимо кафе, где тают кусочки льда в апельсиновом соке. На открытом верхнем этаже туравтобуса — жёлтые аккуратные кепочки японцев.

Читаю листочек. На листочке — цифры. Номер телефона? О! Игнасио! Тебя уже не видно из окна. Где ты, Игнасио?!

Обалдела от улиц. Кружится голова от восторга! Готика! Ошалела от красоты, как от любви. Кто не был в Мадриде, тот не поверит.

Сажу на открытом верхнем этаже автобуса, пробую шишку. Шишка на шишке... Голова стала больше.

Эта езда под раскалённым небом что-то перетопила во мне. Я не желаю расставаться с этой красотой.

Королевский дворец. Выхожу. Выходят японцы в жёлтых кепках.

Красив рельеф гор из мансарды королевской! Неповторимые линии! Короли тысячелетиями глядели на этот рельеф гор. Этот вид для королей! Простому человеку здесь можно затеряться или исчезнуть.

— Я хочу экскурсию с русской группой, — говорю по-английски.

— Русских групп нет.

— Почему?

— Нет туристов из России.

— Нет? А я?

«Я вообще у вас проездом. Земля — транзит!» Но разве это скажешь на испанском или на английском? Катя могла говорить на другом языке только очень понятные и простые вещи. «Русский язык самый богатый язык в мире...»

— Это очень мало. Очень мало.

— Я — это мало? Понимаю. Спасибо.

И с каким-то участливым пониманием испанка глядит на русскую.

Ах! Говорят, и на Западе — мнимая свобода. Но мне хорошо.

Шоколадная комната. Величественное без красоты уродует природу и человека. Здесь величественное не подавляет. Гобелены черешневые.

Вспомнился Петродворец... Петроград. Ленинград. Когда Сенатская площадь — это был Санкт-Петербург... Революция разрушила и дворцы, и хижины. Неблагополучная история.

Как остановить разрушение? Здесь и сейчас царь царствует. Ничто не разрушается. Здесь красота вечна, как горы Пиренеи или Средиземное море.

Кто они? Испанцы, которые вернули себе короля? Которые живут в городе-лабиринте, городе-улье из старых шоколадно-кофейных сот готики. Какая продуманная красота архитектуры!

Я не могу и не хочу отсюда никуда уходить. Это не истерика, это прочувствованная красота. Это желание жить в красоте. Это мечта.

Здесь всё красиво. Всё! И люди. И город. И деревья. И дома. И солнце другое. Оно белое. Без пятен и без оттенков желтизны.

Японцы из музея выходят в одинаковых зелёных и жёлтых сандалиях.

Мадридский двор с бронзово-пепельными львами, рыкающим водопроводным водопадом. А там, у нас, — Сенатская площадь со шпилем в холодном небе Санкт-Петербурга. Идея вытянулась в Александрийский шпиль. Холодный шпиль в холодном небе. Как скромны деревца возле Сенатской площади, перед Мадридским двором — оазис. Шумит вода.

Солнце отражается от воды, от гранитных фасадов монаршего дворца. В небе растаяли и иссохли последние два прозрачных облачка. Шумит мадридский водопад под ноги пепельного льва.

Веера пальм, шоколадность магнолий, плакучесть платанов. На бархатной зелёной лужайке парочка — он и она. Целуются бесстрастно. Он и она. Смотришь и ничего не чувствуешь. Если целуются в России, всех это будоражит, тревожит, обижает... Волнует. Все возмущаются.

Целуются лежа. Он — на траве, она — на нём. Нет. Перекатились. Девушка на зелёном бархате живых стебельков травы. Обнимаются. Как дети. Сумасшедшая свобода! Так естественно на траве. От солнца пепельные львы смеются. Но хотелось пройти полземли горящими ступнями.

Листья магнолии, как свечи, блестят и светятся, края побурели, запеклись на солнце. По стволу стекает восковая смола. А в Москве — весна.

Все улыбаются: и полисмены, и парочка, и просто прохожие туристы. Солнце заглянуло в зеркало машины и уехало. Тень под пальмой осталась. Небо пепельно-голубое с накипью по краям горизонта. Блестящий, светящийся поток каскадом падает с домов на гравий.

А солнце в Мадриде улыбается? Да! И солнце тут улыбается. Мужчина прячется в тени стриженной под бочонок туи. В тени горячего гранита — девушка опустила ноги в бассейн. Итальянка?

Вода мерцает и дрожит от света солнца. И выгорает, как лампадное масло. Итальянка опустила изящные тонкие ступни ног цвета шоколада в мерцающую лампадную воду. Нос её тает и становится тоньше.

Листья магнолий шоколадно-глянцевые, сладко пахнет испанское лето. Солнце не в небе — в каждом отражении: в гранитном накале, в стволах чинар, в листьях магнолий. Всё живое отражает солнце. Отражает прохладная гладь воды. Отражает листва, зелёно-глянцевая. Бабочка белая, как все под солнцем. Белое-белое платье на девочке.

— No peso...

Девочки смотрят в воду. Поднимают юбочки и идут. Черноножки, белоножки. Ищут в прохладной воде счастливые монеты удачи.

— No peso, — шоколадные ноги сверкали от капель воды.

Не забыть кинуть песету. Я ухожу, ухожу, ухожу. А хочется остаться. Вспомнился вечер в Москве. Старик в тусклом свете вечера. Он преследует меня, как тень. Но здесь тень спасительна. Здесь другое солнце: свет падает с высоты, а не светит сбоку. И другая тень. Не ползет по земле, не стелется, а ложится прямо к ногам.

Где тень? Пальма, пальма... Как тонка тень от твоих разлапистых веток.

Я ложусь на траву. А в глазах белое солнце Мадрида. Под белым солнцем листья дают другую тень. Спасительную. Тень, в которой можно отдохнуть. Тень, которая не омрачает. Тень, как отдых. Тень, которая оберегает.

Я кинула три монетки, когда три девочки ушли. Мне хочется увидеть всплеск улыбки, когда они найдут. Мадридское солнце ослепляет улыбкой, усыпляет, расслабляет.

Прибежала девочка в синем с белыми горошками платье. Взглянула. Вспорхнула. Убежала тонкими детскими босоножками. Унеслось облачком синее платье. Белые-белые горошки словно рассыпались. Найдут? Или не найдут? Три монеты по пять песет. Если найдут сейчас. При мне. Я ещё приеду в Мадрид. Девочка шла, шла, шла и вдруг остановилась. Взглянула на меня. И!.. Я спугнула её, как она спугнула селезня в чёрной шапочке из перьев с зелёным шарфиком пуховым. Селезень крутит шапочкой, ловко ловит хлеб, распушив шарфик. Девочки стали кидать птице кукурузные палочки. Прямо в бассейн, как в корытце. Улетел селезень? Улетел от крошек. Испугался. Почему? Он всхлипывал, как ребёнок.

Старик — ребёнок... Его жалко. Жалость убивает любовь? Он пользуется шприцем один раз в день. Жажда обладания. Яд в золотом перстне. Яд в шприце.

Они опять пришли. Маленькие испанские искательницы. Белые горошки на синей юбочке. Они ищут монеты, которые бросают туристы, чтобы вернуться. Мокрые и холодные песеты ложатся в ладони девочек.

— О! А! Эй!

Пусть они нашли монеты. И я вернусь. Даже мадридское солнце смеётся! Голова моя, голова: одна шишка из Москвы, другая — из Мадрида. Какая больше? Вы были в Мадриде на улице, по которой поднимается белое солнце из сказки «Тысяча и одна ночь».



ГРЕКО-РУССКИЕ УРОКИ В ИЕРУСАЛИМЕ

новелла

На Голгофу поднимается греческий монах: он только что освятил Кувуклию и плиту миропомазания. Голубь взлетает к куполу храма. Тёплым стал поручень перил от рук паломников, которые преодолевают каменные ступени. Скоро Рождество. Запах ка-

дильного дыма. Свет от свечей, словно живое воплощение. В седой от времени скале морщиной земной зияет трещина, там кровь, испившая грехи, — просочилась живой водой до черепа Адама. Греческий монах подошёл к месту, где прибывали Христа ко кресту. Народ, как одно тело, сторонится вправо. Вот освящается место деления риз. Раскачивается кадило, как маятник вечных часов. Потом монах медленно — греки не любят суетиться — спускается по лестнице справа и подходит к камню миропомазания.

Вторым быстро подошёл к лестнице и устремился на Голгофу монах-армянин в багровом убранстве. Освящает престол, затем место прибывания ко кресту и место деления риз.

Третьим стремительно, как голубь, взлетает копт в чёрной шапочке, на которой изображены двенадцать белых крестиков. Быстро машет кадилом и устремляется вниз.

Время то замедляется, когда грек неторопливо машет кадилом, и словно течёт вспять; то стремительно набирает скорость и несётся.

Паломники вернулись на свои места в очереди, они говорят вполголоса и молятся молча, производя какой-то странный храмовый, словно тысячелетний, гул наречий.

— Некоторые историки религий считают, что честная Риза Господа — это нешвенный¹ хитон, — продолжает рассказывать Марк-экскурсовод.

Альпиде нравится слушать гидов и изучать языки, разговаривать с народом на их наречии. Она уже пробует проводить экскурсии сама. Ей нетрудно, она учительница с десятилетним стажем.

Высокий монах поправляет фитили в лампадках. И, хотя он рослый, ему нужно вставать на лестницу. Потом он начал давать свечи, и паломники подступили к нему. Альпиде надо было поговорить с ним, но куда в такой толпе... Альпиде он напоминает картину из Третьяковской галереи...

— Прочитаем в Священном Писании: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон...» Хитон и ризы из Иерусалима вывозились. Персидский шах передал ризу русскому царю Михаилу Фёдоровичу,

которую после завоевания Грузии обрёл у митрополита в кресте. — Марк-гид живёт в Иерусалиме почти двадцать лет и каждый год собирается съездить в родное Подмосковье.

Монах сидел в деревянном кресле, положив ладонь на чёрную взлохмаченную бороду, словно так легче общаться с мирянами. И Альпида, пересилив робость, подошла.

Он приложил к глазу мирянки ладанку, словно чеховское пенсне, а потом дал понюхать. Ладанка старинная, необыкновенной работы, но почти пустая.

Она брала книгу в греческой епархии и теперь попросила монаха передать эту книгу архимандриту, который учился в Питере и любил помогать русским на Святой Земле.

Рядом оказался Марк и, как знаток-коллекционер, разглядывал ладанку.

Перед живоносным Крестом — два огромных подсвечника. Учительница зажигает свечи и ставит в песок. Святой огонь не гасится и будет гореть в Храме Гроба Господня до схождения нового огня.

...На следующее воскресенье в греческом приделе монахи и священники мирно сидели вдоль стены. Учительнице это всё напоминало музейный зал в Третьяковской галерее, и она иногда не верила в ту реальность, которая происходила вокруг неё.

Вот она узнала монаха братства Гроба Господня с Голгофы и спросила, передал ли он книгу монаху-питерцу.

Монах встал, приложил руку к бороде и спокойно уверил: «Да». Борода у него была большая, с хорошую совковую лопату, и чёрно-угольная.

И вдруг она спросила с трепещущей надеждой:

— Вы хотите говорить по-русски? — может, и здесь она найдёт учеников.

Монах поднял глаза: перед ним большие синие-серые глаза, правильный овал, русые волосы под белым платочком. Русская Россия?

— Да! — высокий монах с Голгофы просиял, словно луч радостного света пробежал по его лицу, и борода засверкала антрацитом.

Она дала ему свой номер телефона.

* * *

Вскоре начались занятия: ему хотелось говорить по-русски хорошо. А ей хотелось, чтобы он заговорил по-русски, пока не закончилась её виза. Но оказалось, что греки утратили некоторые русские звуки. И что бы учительница ни делала, русские существительные «не хотели» склоняться по-гречески, а греческие глаголы — спрягаться по-русски.

Монах не удивлялся её нетерпению: в миру люди спешат прожить свою жизнь поскорее, словно чужую.

Альпиде казалось, будто через педагогическую строгость он быстрее освоит смешанные спряжения.

И он, потупив взор, прикладывал большую руку к бороде и надавливал, успокаивая в себе что-то взлохмаченное.

В номере хостела было тесно, но светло, так как две стены были почти полностью из стекла. Уроки чистописания. Её детская рука и его широкая выводили по очереди русские буквы. Тетрадь лежала у него на коленях, потому что стола не было. Она очень хотела, старалась, чтобы он говорил на её языке правильно. Она писала, и превращалась тетрадь в учебник. И спокойнее вглядывалась, как он укладывал свою бороду не торопясь: эти чувствующие волосы перестали пугать её.

...Каждый раз, проходя по старому городу, Альпида слушала легенды Марка-экскурсовода, записывала важное: пригодится, когда станет опять преподавать. Ей всё здесь казалось огромной киносъёмочной площадкой.

Однажды монах на Голгофе захотел дотронуться до её руки, но она по-девичьи инстинктивно убрала кисть.

Он смутился. И дал ей недогоревшую свечу с подсвечника у Креста Господня. Свеча была ещё тёплой и пахла мёдом, лесом, воском и ещё чем-то чистым, может, небесным дождём, который прошёл и смыл всю грязь с Земли.

...Он звонил по телефону вечером, стоя у её двери.

— Я монах из храма. Я иду. Я буду.

И стучал в дверь.

– Я пришёл.

Она смеялась:

– Да?!

– Да. Я пришёл. Я иду здесь.

Высокий, сажень в плечах, он занимал собой почти полкомнаты. Он прикладывал руку к губам, к бороде, к груди, словно прокладывал дорогу словам. Она смотрела на него, и он, казалось ей, сошёл к ней с Афона, как Петр Святогорец. И время её внутренней жизни расширилось до глубин VIII века. Сегодня принес апельсины. Это были самые сладкие плоды, быть может, из райского сада мироздания, до которого отсюда пятнадцать минут пешком.

– Я хочу ехать Россия.

– Когда? – она взяла золотистый апельсин, потом провела пальцами по своей золотой цепочке, поправив серебряный крестик.

– Потом... – Он следил за её детскими пальцами, потом глянул на лицо, и оно опять его поразило своими большими глазами на правильном овале – русской России. – Летом.

Она занималась с ним каждый день, и на обед всегда было что-нибудь вкусное в её скромном номере хостела. А вот буквы «пережёвывались» трудно.

Капризнее всего была буква «Ы».

– Ы... – повторил он, а получилась «И».

– Мы будем говорить по-русски.

– Ми, – получалось у него вместо «мы».

Это смешило её: «Бить» вместо «быть».

– Я бил здесь вчера.

– Кого?

Он купил коричневую тетрадь цвета глиняных табличек и просил писать крупными печатными буквами.

– Не так, не так! – махал он руками, как ребенок-дошкольник, если буквы являлись прописные.

Она писала слова заглавными печатными буквами.

Он требовал, чтобы буквы были как в типографии: аккуратные, красивые и похожие каждая на себя.

У неё был размашистый броский почерк – приходилось стараться, точно на чистописании.

– «Ы» – звук – медведь, грубый.

– Ы-ы-ы!.. – Он взглянул в её лицо и опять

увидел Россию, какой он себе её представлял. Русские светлее европейцев, у неё даже брови русые.

Он принёс кагор, свадебный, фанагорийский, терпкий, с ароматом чайного листа.

– Пасха, – сказал он и перекрестился, словно Пасха уже наступила.

– Ты будешь чай или кофе? – белый шёлковый платочек упал с русой, золотящейся головки на плечи.

Он подумал, что ей лет тридцать пять, и что-то случилось там, в России, и она приехала просить помощи.

– Я пью сок, – ответил как-то по-особенному: не строго, но отрешённо.

...На восточных улочках – вечный базар: сладости, фрукты, украшения – ковёр из цветов дивных красок.

Вот через арабский квартал пробежали в больших чёрных шляпах два ортодоксальных иудея.

Небо над старым городом удивительное, как у Сарьяна². Два красных пятна крыш раздвигают пространство до Елеона.

А ночью небо в густом аквамарине – такое низкое, что звёзды дарят каждому свою путеводную нить, проникая и в окна-стены хостела, и в арабские глубокие окна в древних каменных стенах. И кошка, вытянутая до змеи в своём прыжке, как из другой реальности – до новой эры.

Ночью в арабском хостеле и на верхнем этаже холодно. В полстены окно на восток и во всю стену – другое.

И ветер ищет кого-то, сквозит во все щели. Но вдруг открылась дверь, и кто-то неслышно вошёл. Остановился. Стал рассматривать её лицо. Сердце стучало всё громче.

– Кто? – со страхом встала, готовая к самозащите.

Стена-окно. Одеало на полу, совсем близко от раскаленных спиралей старого советского электрического обогревателя. Трюмо не было, но ночью в окна можно смотреться, словно в зеркало. Холод, как на Синае. Впервые выжимала там она свой пот. Если бы Моисей явился, то и он бы похвалил её за волю. Но что это? Высокий монах с Голгофы был похож на Моисея? Ветер на всём горном свете. И звёзды на

вершинах. И нешлифованный гранит. Ночь, камни, дыхание верблюдов. Магнит в той горе? И Сфинкс безмолвно взирает, как восходишь к самому себе, всё выше.

...Утром солнце восходит над Иерусалимом по-особенному. И опять весна — всю зиму весна. За молитвой муэдзина³ — начало рассвета.

В комнатке был белый пластиковый стул, как в летнем открытом кафе. Грек сел на стул, она сидела на кровати.

Он удивлялся, когда приходил к русской учительнице:

— Учительница. Стол нет? — и доставал из широкого кармана маленькую круглую баночку мёда.

Она смотрела на него с удивлением: поношенная просторная и длинная до пят ряса с широкими рукавами.

Он смотрел в её глаза и читал в них: такая скромная жизнь, быть может, это своего рода монашество.

Учительница на пальцах изображала шумерское колесо? Или клубок Ариадны?

Он кивал бородой, весело светились глаза, словно он нашёл выход из лабиринта серебряной паутины разматывшегося клубка.

Мёд, который он принёс, был смешан с пергой, маточным молочком и ещё с чем-то необыкновенным. Аромат расходился над горячим чаем, как миро из золотой ладанки.

Он зачем-то приставлял открытую ладанку к её глазу.

* * *

В понедельник ученик не пришёл.

Араб-смотритель гостиницы спросил негромко, когда Альпида шла к Амели:

— Sister, о.к.^{4?}

— О.к., — ответила она.

Альпида пожаловалась соседке Амели, ожидая, когда поднимется пенка арабского кофе.

— Он не пришёл. Мне всё кажется, это сон — что я здесь. А они все из картинной галереи.

— Будь проще, позвони своему большому Тезею, — улыбнулась Амели-киевлянка, диагностируя опытным взглядом врача по сердечным заболеваниям нечто другое, во всяком

случае, не уроки русского, — и спроси его. Он живой, а не из «Портрета» Гоголя.

— Не могу.

— Почему?

— Он монах из храма, — что-то смущало москвичку Альпиду.

— Он не всегда был монахом. А ты не всегда учительница! — дотронулась паломница-врач до шеи подруги. — Что это у тебя? Крестик серебряный. А цепочка почему золотая? Цепочка дороже крестика?

Над уроками врач шутила, наслаждаясь запахом арабского кофе:

— У них другие понятия. По-гречески любовь, вера и надежда...

— «Другие» — что?

— Руководящее начало... — Амели улыбалась, словно гипнотизировала. — У них вера сильнее любви. И они синтезируют впечатления.

— Что? — не соглашалась учительница. — Вера не может быть сильнее любви!

— Почему?

— Вера и есть любовь!

— Греки христиане с 335 года. А мы? — примирительно улыбнулась. — Мы их ученики. А ты вообразила себя учительницей, а его — учеником. Ты ведь не Альпида, а простая русская Вера.

— А ты?

— Я Соня, София. Мудрость. При постриге меняют имя, но оно должно начинаться на ту же букву, что и мирское. А ты хочешь?

— Что?

— Может быть, он Пётр был? Сколько ему лет в реальной жизни — сорок или пятьдесят? Почему он стал монахом? Он же такой огромный мужик! Руки пахаря, лоб Сократа, с оливковым оттенком кожа. Он с Афона, грек. Ещё в V веке до рождества Христова греки туда пербрались из Халкидии. Вам, русским, ещё полторы тысячи лет потребовалось, чтобы креститься. Сам Александр Македонский хотел там высечь из горы Афон огромную статую — а в руке чтобы была чаша...

— Мне не верится, что это не сон, а жизнь.

— Картина оживёт, как только ты его перестанешь бояться. Монахи тоже люди.

Паломницы из Москвы и из Киева жили как сёстры, вместе ходили в кафедральный собор,

где служат греки. Амель — в украинском расшитом яркими красками платке, Альпида — в белом шёлковом. В греческом храме стулья с подлокотниками, можно расслабиться, если очень устали.

...После службы условились идти к русскоговорящему греку. У архимандрита Амель как хозяйственная украинка взяла сковороду. Она с воюющей родины. Здесь, в Иерусалиме, врач-кардиолог подрабатывала четыре часа в ресторане посудомойкой за сорок шекелей — объясняла, словно извиняясь: «Копеечку надо заработать». Двести пятьдесят шекелей в неделю за кровать и электрическую плитку, над которой то сверкало, то запотевало зеркало, когда они с Альпидой разогревали ужин, который им давали в трапезной греков.

— Как ваше сердце? — кардиолог слушает пульс архимандрита.

— А разве я схож с мёртвым? — доброта светится в его лице.

— Вы сделали кардиограмму? Обещали. Спасибо за сковороду: знаете, это как дары волхвов у О'Генри, — улыбнулась Амель.

Мог же знать писатель, рождённый в Северной Каролине, о Вифлеемских дарах волхвов с Востока.

* * *

В Иерусалиме время не идёт, а летит. Промелькнули три дня. Ученик-монах опаздывал, Альпида позвонила.

— Я монах из храма.

— Сегодня урок русского языка. Тема — глаголы. — И в её душе наступал такой покой, который она называла там, в русской школе, гармонией.

— Я живу в храме. Я иду. Два и пять минут ждать.

Он принес веточку неопалимой купины, но не выучил спряжение неправильных глаголов.

— Сколько вам лет? — спросил он без всякого акцента.

Она не ответила, отвела глаза. Что за искушение?

— Почему вы приехали на Голгофу? — как-то сакрально спросил он.

Она не сразу приподняла лицо. Глаза её по-русски распахнуты, и ни одна складочка не прикрывала сверкающие, сдерживаемые в уголках слёзы.

— Есть рыба. Там.

— Рыба? — она вспомнила притчу евангельскую о ловле рыбы: «Трудились всю ночь и ничего не поймали».

— Там есть рыба. Я принесу. Я могу. Хочешь?

И она увидела притчу словно наяву и хотела сказать: «Выйди от меня... потому что я человек грешный». Но ничего не сказала, а только с какой-то невыносимо грустной любовью посмотрела на него.

— Можно? — опять спросил монах, рассматривая русоволосого бледнолицего пришельца с северной стороны земли. Он словно сам прикоснулся к этой русской земле, преодолевая внешнее пространство.

— Можно, — повторила за ним.

* * *

Заканчивался пост, приближался праздник. И с утра до вечера десятки раз Марк-экскурсовод поднимался с паломниками на Голгофу.

— Справа от Креста — Иоанн Богослов. — Марк подбирает слова, чтобы удивить приезжих. — В то время, чтобы показать красоту мужчины, писали его с женским лицом.

Русские женщины-паломницы в белых платочках благоговейно слушают и смотрят, широко открывая глаза, чтобы, один раз увидев, запомнить навсегда.

— С другой стороны вы видите Деву Марию... Представьте то время — две тысячи лет назад... — показывает гид паломникам в белых платочках.

Альпида слушает вместе с женщинами из России, а те говорят шёпотом, словно стесняются.

...Днем Альпида среди паломников, а вечером ждёт ученика-монаха на занятие. Он не пришёл. Она обижалась, хотя понимала, что обижаться на монаха нельзя, он не принадлежит ни ей, ни себе, ни даже тем урокам, которые она проводила. Он монах из храма. Она думала о потерянном времени, и это её раздра-

жало. Она даже на молитве думала об уроках. Это выводило из равновесия. Альпида роптала, но привязанность к нему не покидала её, и это странное чувство не было похоже на ту любовь, которую она знала раньше.

И, видя её, араб-смотритель, играя чёрными глазами, спросил громко:

— Sister, o.k.? Or not?⁵

Она ничего не ответила, поправляя белый шёлковый платок.

Снизу ветер принёс дымок от шашлыков, жареной баранины.

...И опять вечером Альпида исповедала свою тоску Амель.

— Я не знаю, что делать? — учительница смотрела на врача, словно та может вылечить её.

— Кто из нас учитель: ты или я? — улыбнулась интригующе Амель. — Он опускает глаза, когда я смотрю на него. А они такие чистые! — и, делая салат из фруктов, рассказывала со здоровым базаровским цинизмом, словно по программе ЕГЭ (Тургеневу бы и не приснилось такое обучение): — Один молодой монах не удержался и привёл в келью девушку. Другой монах увидел и доложил игумену. Игумен приходит: «Где девушка?» Старый монах, сидя на сундуке у молодого монаха: «Где, какая девушка? Мы сидим, разговариваем». Когда игумен ушёл, старый монах встал, открыл крышку, выпустил девушку. Монахи друг друга не выдают, у них другие понятия.

— Понятия меняются. Иногда кардинально.

— А у тебя, я вижу, картинки превратились в живое чувство жизни.

...Ночью окна прорезала молния, гром играл на небесном органе, быть может, Баха... Альпида фантазировала, и страх не одолел её. И подумала: «А как же бедуины на горе Синай? Там Моисей пас стада».

Ветер воеет так же, как в Москве зимой.

Ученик не пришёл. Она звонила вчера. Он сказал: «Завтра». А сегодня уже «завтра», а он не пришёл. Дождь тропический вторую ночь.

После литургии учительница спросила у архимандрита-питерца:

— Где мой ученик?

Молчание.

Но Альпида ждала своего нового ученика и готовила ему подарок.

* * *

Наступил праздник. Высокий монах пришёл в арабский хостел. Поднялся на последний этаж, где жила русская учительница.

Он вынул золотой крестик и попросил снять её серебряный крестик с цепочки. Но золотой цепочки не было. А была простая тонкая нить-тесма, похожая на шнурок.

— Я продала золотую цепочку и купила самый лучший ладан. — Альпида протянула ему ладан и попросила дать старинную ладанку.

Величие души покорило его. Он встал, почти касаясь плечами стеклянных стен. И, приложив руку к бороде, улыбался, как не улыбался ни один счастливый.

Как объяснить, что он продал золотую ладанку и купил золотой крестик для её золотой цепочки?

Она поцеловала его руку.

Он изумился. У греков даже при миропомазании руку не целуют.

Всю ночь в огромное окно заглядывали звёзды: путеводная, та, что освещала путь и Доротею⁶, мечтавшей встретить мужчину умнее и красивее себя. Звёзды, которые возвестили о рождении Мессии.

Утром араб-смотритель нанизывает фразы, будто мясо на шампур:

— Sister, o.k.?

— Что? — заговорила по-русски Альпида. — Что тебе надо? Я заплатила за номер до конца визы.

И быстро понеслась в храм.

На Голгофе у места деления риз к высокому монаху подошел юркий завистливый маленький казначей, которого одаривали дорогими дарами богатые паломники.

— Где моя ладанка? — смотрел на монаха казначей грозно, как минотавр. — Где ладанка?

Он молчал.

...Альпида и Амель встречались, пили кофе и каждый день ходили в храм: поднимались на Голгофу, прикладывались к Кресту, наклонялись и, просунув руку, дотрагивались до шершавой поверхности камня – горы Голгофы, на которой стоял Крест.

На Голгофе служил другой монах. Высокий монах словно исчез.

И Альпида возвращалась в хостел грустная.

Врач шутила:

– Ты же искала того, кто умнее, красивее и знатнее тебя.

– Я так не говорила!

– Тебе надо съездить в монастырь Святой Екатерины на Синае и продлить визу на три месяца.

И опять араб-смотритель встал перед женщинами на крутых каменных древних ступенях хостела:

– Sisters, o.k.?

Альпида отвернулась.

– Гуд, – засмеялась врач, с любопытством разглядывая чёрные глаза араба. (Она изучала немецкий и никогда с ним больше одного слова не говорила.) – Гуд-гуд, хорошо.

Женщины-паломницы уходили утром, а возвращались вечером – спать. Как спрашивал арабский мальчик: «Где вы спите?», а не «Где вы живёте?» Они живут под солнцем и под звёздами, здесь вечное лето. И не так важно, что стола в номере нет, а ширина его в ширину плеч.

Греков было много, они похожи друг на друга, но никто не был похож на высокого монаха из храма, который подарил веточку неопалимой купины, крестик и еще что-то, что невозможно передать словами, сколько бы вы языков ни изучали... Быть может, в этом и есть тайна живой веры – вечная тайна даров волхов... Монахи знают больше того, что знают?

Альпида искала его по монастырям Иерусалима, Палестины, Иордании и даже на Синае в монастыре Святой Екатерины...



ТАДЖИКСКИЙ ВИНОГРАД

рассказ

Было очень морозно в ярко освещённом городе. Вечерние улицы светились праздничными огнями, машины перегоняли друг друга. В эту ночь наступит Рождество.

За углом, где открывался переулок, шумела и толкалась кучка взъерошенных парней. Наташа торопливо прошла мимо шумной ватаги. Смех и крики отдалялись. Но кто-то шёл следом: скрип снега становился отчётливым. Молодая женщина насторожилась от этого догоняющего её морозного хруста, поправила лисью рыжую шапку и пошла быстрее.

Электрический фонарь. Холодный свет на снегу. Тень её фигурки вздрогнула и застыла. Резко остановилась и быстро оглянулась. Мальчишка неуклюже ткнулся ей в плечо. От неожиданности отскочил.

– Тётяшка, а вы далеко живёте? – Мальчишка с неё ростом, лет одиннадцати, голос простуженный.

– А что? – удивилась она, разглядывая преследователя: худое узкое лицо, ершистый, лёгкая болоньевая куртка застегнута на две нижние пуговицы.

– Пустите переночевать. – Шмыгнул носом, потёр его голый, без варежки рукой.

– Извини, мне ехать далеко. – Жалость и настороженность боролись в ней.

Оглядываясь и нелепо подпрыгивая, мальчишка шёл сбоку, засунув руки в накалённые морозом карманы.

— Застегни пуговицы. — Она приглядывалась к нему.

Окоченелые согнутые пальцы забегали по льдинке пуговицы, но, скользнув, опять вынырнули из разорванной петли, впуская стужу к детскому продрогшему телу.

Подошёл автобус.

— Тётяшка, к вам можно? — не отставал мальчишка.

Клубы едкого газа, словно мыльные пузыри, вылетали, обдавая угарным теплом.

— Садись, — бросила она через плечо, кивнув лисьей шапкой, и быстро зашла в автобус. Заплатила за двоих.

Мальчишка легко вскочил следом, не вынимая рук из карманов. Неловко, боком сел на свободное место, постукивал ботинками, согревая ноги.

В морозном блеске мелькали огни рекламы. Город сверкал в ожидании чуда, праздника, счастья.

— А до вашего дома далеко ехать? — Подышал на красные пальцы, зажал их между колен, стараясь заглушить морозную ломоту.

— На следующей выходим. — Она пошла к выходу.

На освещённой красными гирляндами остановке Наташу ждал муж, невысокий, плотный, в кожаной длинной дублёнке. Взял из рук жены сумочку, притянул за плечи, согревая. Она торопливо объясняла ему ситуацию. «Что-то случилось... — долетали до мальчишки слова. — Я ещё не поняла... Ему некуда идти... Я пригласила его к нам».

Мальчик видел, как она изменилась в лице, разволновалась, словно не была хозяйкой.

— Мы решили. Ты пойдёшь к нам, — подошла к своему преследователю, трогая его за плечо, ощутила морозную ломкость шуршащей куртки. — У нас праздничный рождественский ужин. Согреешься. У нас тепло.

— Не надо! — мальчишка отдернул плечо. — Я сам как-нибудь. Мне есть куда пойти. Куда-нибудь пойду...

— Иди туда — не знаю куда? — рассмеялся муж, подходя ближе.

— Не надо, — повторил мальчишка, упрямо борясь с дрожью от холода. — Зачем вам ругаться

потом? — И с дерзким вызовом бросил: — Я не замерз! — Взглянув исподлобья, опять насупил.

— Так как же тебя зовут? — мужчина снял со своей руки кожаную перчатку на натуральном меху и протянул тёплую ладонь.

— Али, — сказал черноглазый мальчишка и разжал в кулаке пальцы.

— Али. А по-нашему Алик, значит, как моего друга. Меня — Сергей, — и, придумывая условия игры для этой ситуации, Сергей добавил: — А теперь пойдём в наш терем-теремок. Он не низок, не высок. В тесноте, да не в обиде, как деды говаривали, да? А ты серёжен, да легко одет, брат. А тут русские рождественские морозы наступили! Мороз-то, он, видишь, не тётка, шутить не любит.

— Мне не холодно! — не принимал Али наигранного тона. — Я привык. Правда. Сергей, а вы далеко живёте?

...В квартире тепло и уютно. Комната тесно заставлена: шкаф, два кресла, телевизор, письменный стол, стеллаж для книг как перегородка.

Али казалось, что он дома, в Таджикистане, и было ему так тепло и хорошо на душе, что возник какой-то покой. Мальчик не чувствовал ни натянутости, ни стеснительности ни за столом на кухне, ни в кресле перед телевизором: чувство было такое, как будто Наташа — его старшая сестра. На столе были фрукты. И Али ел мандарины и таджикский виноград, торопясь и смешно всхлипывая от насморка.

— С Рождеством, Наташа! Будь счастлива! — поздравлял Сергей, улыбаясь. — С Рождеством, Али! Пусть всё будет хорошо!

Наташа постелила мальчику на раскладушке, слышала, как он скрипел натянутыми пружинами и вдруг затих во сне. Где-то в других квартирах, из другого мира, доносились приглушённые звуки.

Полночь: просигналило радио у кого-то и смолкло. Она заставляла себя уснуть: не думать, не вспоминать. Но память сама перелистывала страницы прошлого. Воспоминания приходили, словно сон: превращались в мысли о жизни, ей было приятно, что мальчик спит за перегородкой в тепле её квартиры.

...Утром Наташа решила проведать свою

одинокую тётю Элли, отнести ей рождественский подарок.

У тётю Элли была в гостях соседка Зоя — тоже одинокая пенсионерка, страдающая множеством болезней.

Наташа рассказала о мальчике, который вчера её напугал в тёмном переулке:

— ...А сейчас вот посадила его на автобус до автовокзала, дала на дорогу денег. У мальчишки, кажется, ни копейки не осталось, говорит, все фильмы пересмотрел.

— Ты уверена, Наташа, что он поедет на автовокзал? — недоверчиво улыбнулась тётю Элла, она уже давно относилась ко всему с предосторожностью.

— Как ты решилась пустить с улицы в свою квартиру мальчишку? Да ещё в такой праздник! — недоумевала Зоя, очень активная и уверенная женщина. — В жизни ведь всякое бывает. Вот в одном доме соседка сжалась, тоже пригрела девчонку с улицы. Так в благодарность знаешь что получила? — Зоя возмущенно повернулась, проскрипев стулом. — Обворовали её. Оставила она девчонку в квартире, вышла в магазин. И всё! Вот вам благодарность!

— Как это случилось? — насторожилась Наташа, поддаваясь общему настроению.

— Как? — передразнила, удачно копируя интонацию, Зоя. — Жизни ты не знаешь! Случилось то, что и должно было случиться. Воровкой оказалась девчонка. Какая разница как?! Вернулась, значит, соседка из магазина, — увлечённо, словно на сцене, рассказывала Зоя. — Входит и видит: девчонка сжимает что-то в кулаке. Тут приятельница моя подходит к ней и говорит: «Разожми пальцы!» И как вы думаете, что в руке оказалось? — выдержала паузу, как опытный актёр, и с казнящим осуждением сказала: — Девчонка-то вороватая! — и усмехнулась: — А десять тысяч соседка-то нарочно положила на пианино — не сверху, а прямо на чёрную крышку.

Трудно представить такую Снежную королеву в реальности, а не в сказке. Но жизнь иногда нас с ними знакомит.

— Сколько этой девочке лет? — задумалась Наташа.

— В школу пошла, в первый класс, а воровать уже научилась. А ещё случай был... — Зоя раскраснелась от воспоминаний. — Тоже вот

так... Переночевал один мальчик с улицы, а через неделю эту квартиру и обчистили! — она поднялась со стула, подошла к Наташе, положила ей руки на плечи, посоветовала: — Позвони в милицию. Бережёного бог бережёт. А что-нибудь такое... необычное заметили?

— Не знаю, — пожала плечами Наташа. — Всё было странно с самого начала... Я даже испугалась: снег, как разбитое стекло, хрустел, и шаги всё ближе, ближе... Ах, думаю, всё отдам, лишь бы не били... И когда он мужа увидел на остановке, вдруг идти не захотел... Крутил, рассматривая, замок, когда утром выходили из квартиры.

— Нет, я бы так глупо не поступила! Зачем усложнять? Надо принимать всё как есть. Мир не переделаешь, — убеждала тётю Элла, энергично крутя диск телефонного аппарата. — Есть специальные люди в милиции, которые занимаются такими детьми. Вот пусть каждый и делает своё дело.

— А как он вёл себя ночью? — не унималась соседка.

— Не знаю, — устало ответила Наташа. — Мне снился сон... Как будто я сына родила.

— Сон-то сном, а что теперь в твоей квартире делается? Вспомни детали! — приказывала тётю Элла, волнуясь всё больше и больше за любимую племянницу. — Что говорил?

— Он говорил, что не видел ещё квартиры без телевизора, — Наташа продолжала вспоминать вслух.

— Вот-вот! — недоверчиво усмехнулась Зоя. — Что за такой страховой агент, что квартиры обходит? Испортит вам новогодние каникулы.

— Наташа, и я тебе как дочери советую: вспомни всё, подумай и позвони в милицию, — настаивала тётю Элла. — В молодости и я тоже была доверчивой.

— А муж где?

— В лесу.

— В лесу?! Где? — удивлённо вскрикнула Зоя. — Это ещё что?!

— Он же у меня спортсмен. Летом — плавание, зимой — лыжи. У нас-то и воровать нечего, только книги.

— У меня всё вынесли! Белым днём! А Сергей в лесу! На лыжах! И будет дома как в лесу! Голо всё! Алло! Милиция? — тётю Элла протянула телефон Наташе: — Говори!

Наташа не узнавала своего голоса. Ей что-то отвечали, что-то спрашивали. Наташе вдруг стало грустно.

...Возвращаясь домой, она прошла пешком несколько остановок. Зима отступила, обмякла, снег стал грязен. Еле дошла до дома.

— Наташа, а тут милиция приходила, интересовалась! — Сосед Иван, ветеран войны, курил на лестничной клетке. — Что случилось?

— Так. Ничего, дядя Ваня.

Хотела Наташа пройти мимо пожилого человека, но вдруг остановилась и сказала доверительно:

— Мальчик у нас ночевал.

— Что за мальчик? — заинтересовался Иван.
— Кто? Откуда?

— Али. Переселенцы, наверное, из Таджикистана.

И Наташа рассказала ему всё.

— Я не понимаю, почему стала бояться воров. Зачем позвонила в милицию, не знаю...

— Может быть, не в ворах дело? — с доброй улыбкой спросил Иван. — Люди стали другие. Дикая изнуряющий страх порабощает. Страх веру убивает. Но, слава богу, не во всех. Почему разучились доверять? Мы во время войны доверяли друг другу, а то бы войну проиграли.

— Мне кажется, что звонком в милицию я себя предала, а не мальчика. Когда стала бояться? Почему я не доверяю себе?

— Не волнуйся, Наташа. Твой Али будет помнить тебя. Доброе век не забудется. С Рождеством!

Наташа открыла дверь своей квартиры и вошла. Вспомнилось, как её пригласила к себе незнакомая женщина. В Москве. Это было так давно. Она сдавала экзамены в литературный институт. Проснулась... Ключ на белой бумаге. И тишина. И записка: «Завтрак на столе. Подогрей чай. Ключ положи под коврик у двери. Ни пуха ни пера!»

В тот счастливый день Наташа сдала на отлично свой вступительный экзамен. И была такой счастливой!



ШКОЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ

рассказ

*Дай прежде насытиться детям;
ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.*
(Евангелие от Марка. 7:27)

Учительницу, к которой ходил Игорёк, звали Зоя Ивановна. Она занималась с ним у себя дома.

Опоздать на урок Зоя Ивановна себе не позволяла никогда. За её плечами тридцать шесть лет учительской работы. Сейчас она живёт одна, на пенсии. Муж её умер от осколка, который остался в нём как частица войны. Осколок убивал его постепенно, мучительно и долго.

Учительница открыла глаза — звонок прер-

вался. За окном было темно. Поздние телефонные звонки она не любила — боялась их. Разбудят, пять минут поговорят, а потом она опять погружается в своё бессонное одиночество. А в одиночестве ей казалось, что она маленькая девочка, а кругом — война и все бегут куда-то... И никого нет рядом, чтобы сказать ей, что война давно кончилась.

Дочь уехала, у неё своя семья.

«Нет, вставать, наверное, рано, — посмотрела она на окно — за окном темно. — А который час? Утро или вечер? Ах! Это же телефон звонит, а не будильник!»

Быстро включила свет и подошла к письменному столу, где рядом со школьными тетрадами расположился старенький с круглым диском телефон.

Услышав голос матери Игорька, учительница решительно собралась отказаться от уроков.

— Да, да... Я слушаю, — отвечает Зоя Ивановна. — Пожалуйста, говорите.

— Игорёк... Игорёк... — всхлипывает, обрывается звук в трубке.

— Что?! Говорите! — сон сразу покинул учительницу.

— Игорёк... — дрожит голос его матери, будто провода замыкает. — Мой Игорёк... Он...

— Он жив?

— Да, — дрогнул голос матери. — Обгорел сильно...

— Где? Как? Пожалуйста, не молчите. Ох, у меня так душа болела.

— Вчера вечером... на пустыре костёр жгли... В больнице он... Мне на работу позвонили, я прибежала, и скорая помощь подъехала. Везу его, всё лицо чёрное, а он шепчет: «Зою Ивановну жалко... Она добрая».

Зоя Ивановна не поверила, не об этом надо сейчас говорить. Но у детей своя правда — она это знает. Это не фальшь. Об этом или не об этом надо говорить — кто знает душу ребёнка?

— Глаза целы?

— Веки распухли. По земле катался. Огонь тушил... Врачи не говорят, удастся ли сохранить... Куртка вся сгорела на нём. Не догадался сбросить, по земле катался...

— Один был?

— С Димкой. Тот нашёл баллончик. А у моего

был каучуковый мячик. В костёр бросили. У кого сильнее фейерверк... А Димка убежал.

— Утром я буду у Игоря, — она записала адрес больницы. Подумала: «Дети, дети... Сами себе террористы».

— Димка убежал, а мой смотреть стал... Дурачок...

— Не плачьте. Пожалуйста, крепитесь. Ради сына.

Зоя Ивановна легла, закрыла глаза, попыталась уснуть. Душа волновалась, словно билась в груди встревоженная птица. И прыгал каучуковый мячик перед мысленным взором. И светился, как огни фейерверка. А потом костёр на пустыре. И веснушки, как капельки огня. Было уже поздно, но сон пропал. Она стала перечитывать письма учеников.

Кто-то скажет, что это блажь, что это вовсе не из жизни. Может быть, не из чьей-то жизни, не из нашего времени. Но письма были, была внутренняя связь со своими учениками. Была их и её память друг о друге.

Уснула под утро. Снились война, бомбёжка, вагон-теплушка, перестук железных колёс. Поезд увозит детей из страшного пожарища войны. В войну она была ребёнком. Но как не любила эти сны, а они безжалостно повторялись.

Жалость вела её или сострадание? Разве может быть жалость не модной, не современной? При чем тут мода? Ей непонятно утверждение, что жалость унижает человека, она не могла принять это...

Три остановки шла пешком, и мысли, её верные помощницы, шли с ней.

Отдыхала бы на заслуженном отдыхе. Но смотреть телевизор — это не для неё: всю жизнь училась и учила детей. Дала объявление в газету: «Опытный репетитор...»

Пришли сын и мать. Мать — фотомодель: шляпка с загнутыми полями, сапоги на шпильке, длинное пальто.

— Мы по объявлению, — шляпка посмотрела на себя в зеркало. — Вы репетитор?

Вместе с ней в большом зеркале отразился веснушчатый, совсем не похожий на фотомодель сын. Это он играл вчера с огнём... Это он спрашивал на уроке, что будет, если каучуковый мячик в костёр бросить.

– Да, – Зоя Ивановна поморщилась от латинского «репетитора». И хотя модное это слово было несимпатично ей, однако она уступила веянию времени – сама вставила его в объявление. – Пожалуйста, проходите в зал.

Игорёк приходил ежедневно. И сияли его веснушки, словно солнце, освещая квартиру и мысли старой одинокой учительницы. С первого дня обнаружилось, что за три года школы мальчик научился только читать по слогам да медленно писать, путая заглавные «Э» и «Е».

– А в какую сторону надо? – поднимал курносый нос и, написав две-три строчки, опять спрашивал: – А вы смотрели вчера вечером кино?

– Нет. Я не люблю смотреть на террористов.

– Как он его схватил! – взахлёб спешил говорить мальчик. – А там ещё один мужик! Как они его тащат, а он – их!.. Брыкается!!! – засмеялся Игорь.

Когда дочь увезла внучку, Зоя Ивановна загрустила. И чтобы чувствовать себя нужной людям, решила взять ученика. В этом году ей хотелось заниматься с девочкой, но, когда увидела веснушчатого улыбчивого Игоря, невольно улыбнулась в ответ и оставила его. У него даже круглые пухленькие мочки ушей были в игривых весенних пятнышках, хотя на дворе завязывалась длинная, тоскливая осень. И имя у него было тоже игривое, словно в веснушках, – Игорёк.

– А вы не боитесь, что вас обворуют? – Игорёк кончил писать строчку.

– У нас нечего воровать. – Зоя Ивановна поправила авторучку в его руке.

– А у нас японский видик! Маме дядя подарил, – хвалится он. – Хочу пить. А у вас пепси-кола есть?

Когда переходили к чтению, Игорь всегда просил:

– Почитайте ещё.

И Зоя Ивановна читала, а потом предлагала разыграть по ролям, затем требовала, чтобы он читал сам. Но мальчик читать не умел, слова не соединялись в предложение, предложение – в образ.

– У тебя ведь отдельная комната! Пусть мама смотрит телевизор, а ты уйди к себе, сиди и читай, – убеждала она его. – Читать очень интересно!

– А знаете, как стреляться из пипетки?

– Нет! – улыбалась Зоя Ивановна, чувствуя, что мальчику во что бы то ни стало хотелось выговориться.

– Надо взять пипетку, – поднял Игорь руку над столом и сжал два пальца. – Вот взяли пипетку. Пипетка из стеклянной трубочки и резинового колпачка, на колпачок нажимаете и из трубочки в нос капаете, если насморк. А мы их по-другому используем. Мы подставляем под кран. Краник откручиваем... Пипетка растягивается... Потом вот так, – сжимает поцарапанные пальцы. – И пошли! – Он поднялся со стула. – А потом так потихонечку, сбоку, спокойно подойдёте к кому-нибудь... и стреляете! Вон до той стены долететь может!

– Да это не пипетка, а клизма какая-то!

– Пипетка! Правда! В классе даже с последней парты до доски долетает, если хорошая пипетка. А у нас одного мальчишку Пипетка зовут, – Игорь шмыгнул носом.

– Почему ты не носишь с собой носовой платок? А пипетки с клизмами носишь!

– Он мешает – карман оттопыривается.

– А от мячика не оттопыривается?!

– Он выше теннисного подпрыгивает! А говорят, что когда его в костёр бросишь, то фейерверк будет. Ой! Я иду вчера к доске, – вскочил Игорь, тряхнув русым чубчиком. – Иду себе... А Димка мне пипеткой – раз! Что делать? Сами понимаете... Училка: «Чего встал?!» А я, сами понимаете, как я выйду? А у меня вот что есть! – вынул он из-за нашивки на рукаве два лезвия.

– Игорёк, зачем ты носишь лезвия в школу? – она вспомнила мальчишек из военного детства... Играли в войну, потому что была война. Но зачем война этому мальчику? – Игорь, опасно играть лезвиями! У него обоюдоострые края.

– А что?! Мне Димка тетрадку порезал и форму. Вот! Вот видите! – просунул палец в дырку школьной формы. – Видите! Я ему тоже порезу! – сел на стул верхом, как на деревянную лошадку.

– Дай мне лезвия!

– Не! Не! – засмеялся он как-то некрасиво, не по-детски. Капля упала с носа на тетрадку.

Пересилив в себе неприязнь к этому смеху, Зоя Ивановна положила промокательную бумагу на белый тетрадный листок. По розовой новой промокашке расплывалось тёмное пятно.

«Если он не выговорится, то заболает», – говорила об Игоре его мать.

Перескакивает с одного на другое, всё перемешано в его сознании и воображении, как торопится говорить!

«Я водила его к психотерапевту! И занималась с ним дыханием по Бутейко! Сейчас принимаем хвойные ванны! Всё делаю, что назначили врачи, – оправдывалась мать Игорька. – Вот он дома не делает уроки, не хочет. Чтобы сделал уроки, с ним всё время надо сидеть рядом... Я на работе... Вы для нас находка! Я заплачу вам вперёд», – и передавала в конверте деньги. Зоя Ивановна назначила стоимость урока меньше, чем другие.

Долгими вечерами Зоя Ивановна вспоминала, как выжили они в войну, как люди помогали друг другу. Это был действительно могучий народ, крепкий, и его нельзя было победить. И она верила в это. Что же сейчас произошло? Что мешает людям быть добрыми? Иногда хотелось взять этого мальчика совсем – на воспитание, чтобы укладывать его спать не с окончанием телепередач, а после вечерней сказки для детей, и читать ему, – читать вечерами, всё, что читала она своей дочери и внучке... И со щемлящим чувством жалости вспоминала Зоя Ивановна, как Игорь, забывшись однажды, назвал её мамой. А в конце четверти в школе у Игорька опять не клеилось, получал двойки.

В первый день после каникул Игорёк таинственно сообщил:

– А я у бабушки был! – посмотрел на Зою Ивановну, словно проверял, готова ли она его слушать. – У неё тут... там... там... – он поднял голову и тыкал пальцем, – везде иконы... («Иконы» он произнёс как-то особенно, с придыханием.) И прошептал: – Показать вам? – И в его глазах осторожность сменилась доверительностью, он вынул из верхнего кармана сложенную четверо плотную белую бумагу.

Зоя Ивановна взяла бумажку, хотела развернуть, но он быстро выдернул из её пальцев таинственный, с неровно оборванными краями треугольник. Треугольник был похож на фронтное письмо.

– Нельзя! – разгладил уголок. – А то пропадет всё... – прошептал, аккуратно вложив в карманчик. – Это бабушка мне от двоек заговорила... – И, словно испугавшись чего-то, взглянул исподлобья. – А вы не верите?

Родители разошлись, когда Игорьку было пять лет. Мать запретила им встречаться. Зоя Ивановна не сразу поняла, то ли Игорёк называет отцом прежнего своего отца, то ли другого человека... «Нет, нет... У Игорька нет отца, – разъясняла торопливо мать. – Это мой хороший знакомый, работаем вместе... А Игорь навязался, отцом зовёт... Вот и в школе тоже всем – «мой отец», «мой отец». А я ему говорю: «Нет у тебя отца!» В школу приду – столько наслушаюсь! Потом неделю с ним говорить не могу... Мне – учителя: «Отец обязан появляться в школе!» Отец! Отец! Нет у него отца! Вот и сама поэтому в школу заходить перестала! А у меня ведь их двое...»

* * *

Вот в дверь позвонили – нетерпеливо, прерывисто. Так звонил Игорёк. Учительница ждала этого звонка, как звонка на урок, и её комната превращалась из учительской в классный кабинет.

– Сестра из интерната сбежала, – сообщил Игорь, снимая шапку и пальто.

– Заболела? – переживала Зоя Ивановна.

– Нет!

Игорёк остановился у пианино, открыл крышку, нажал на несколько клавиш.

– Хотите, я вам сыграю «Собачий вальс»? Меня Наташка научила...

Ударял напряженным прямым пальцем и слушал.

– А мне каучук достали, – запустил он руку в карман и вытащил облипший ворсинками круглый комочек, похожий на засохшую глину. – Если его сильно бросить, им можно убить

человека. Вот мячиком нельзя, а каучуком можно! — Он подбросил комок. Ворсистый шар глухо ударился, высоко подскочил. — Видите! Видите как! — поймал и опять подбросил. — Он еще бывает чёрный. Мне ещё дядя Боря много принесёт!

— Да, да, — терпеливо слушала учительница.

— Хотите, я вам дам? — Он достал из другого кармана маленькие белые шарики, похожие на скатанные хлебные мякиши. — Дядя Боря все шарики такими принёс, а я катал... катал их... мял, мял, — сжимал он в одной руке ворсистый комок, в другой — маленькие мякиши. — Всю ночь мял! Даже прыгал по ним в постели! И вот какой стал! — гордо держал он на ладони каучуковый мячик.

— Игорёк, открывай книгу, будем читать.

— А может, не надо?

— Надо! — терпеливо настраивала его Зоя Ивановна после домашней несобранности. — Ученье — свет...

— Может, вы почитаете, а я послушаю? — капризничал он. — А знаете, мы вчера с мамой весь вечер выковыривали... А? Чем глаза красить? Как её?

— Не «её», а «их». Это множественное число.

— Маме надо только синие, а зелёные, красные я в другие коробки перекладывал... Мама продаст... Ей другие не надо... Ей — только синие, — Игорь видел в глазах учительницы непонимание и старался объяснить. — А! Вспомнил! — вскрикнул радостно. — Тушь! А почему вы не краситесь? — непринуждённо разглядывал её лицо.

— Не люблю. Я люблю чистое лицо.

— А знаете, — присматривался он, — можно так накрасить, что лицо будет ровное и гладкое. У моей мамы тоже веснушки были, а теперь, видели, — нет! — с мальчишеским задором говорил он.

— А мне нравятся веснушки. Ты — солнечный.

— Правда? А мама чем-то мазалась, у неё даже кожа облазила, как при ожоге. Больно было. А у сестры фингал, поэтому она в школу не пошла.

— Что за фингал? Где ты услышал это слово? В русском словаре такого слова нет.

— Правда?! — обрадовался мальчик, искривив веснушки прыгали на носу. — Фингал — это наше слово, мальчишеское.

— Что значит «наше»? Слова все общие.

— Что, вы правда не знаете? Фингал — это просто синяк, — веснушки смеялись, и было тепло от этого смеха, словно от костра.

— А почему у сестры синяк?

— В интернате подралась. Мама пошла писать заявление в милицию, чтоб сестру больше не избивали. А Наташка говорит: «Не надо, не трогай, не лезь, а то ещё хуже избыют». Бойтся. Это маме говорит. А мне шепнула, что тоже набил той фингал... Я Наташку приёму одному научил, — оживился Игорь. — Вот так пальцы сделать, — согнул в суставах три средних пальца. — И бей! Сразу отключится.

— Отключится?

— Это значит испугалась, перестала драться.

— А почему сестра в интернате?

— Когда мать с отцом разводились, нас поделили... Во! Во! — закричал радостно. — Я вспомнил! Не тушь! Тени! Чтобы тени были под глазами!

— Фингалы?

Игорёк засмеялся.

Зоя Ивановна придвигает к Игорю книгу. Он читает, спешит, проглатывает буквы, спотыкается, словно слепой о камни.

— Не торопись. О скорости думать рано, не на велосипеде. Ты должен чувствовать, как движется твой взгляд во время чтения, и, главное, понимать, о чём читаешь, — положила Зоя Ивановна ему руку на плечо и ощутила: под пальцами — резаная дырка, как рана от ножа. — Читать так же интересно, как путешествовать или играть в футбол! У тебя ведь отдельная комната. Значит, никто не помешает, если ты захочешь, отправиться в книжное путешествие...

— Я живу на балконе! — перебил Игорь.

— Как — на балконе?

Он молчит, а потом снова начинает спотыкаться о сгрудившиеся буквы: о глухие и звонкие, шипящие и сонорные.

— На балконе — там хорошо! Там комфорт сделали!

— Комфорт?!

— Что?! Тоже в словаре нет?

— Это книжное слово образовалось из английского, а по-русски просто — «уют».

— Уют... Мой папа говорит «комфорт», — го-

лос его перестает спотыкаться, и он быстро продолжает: — У меня такая комнатка, как два стола. Там даже окно есть.

— Игорёк, у вас ведь трёхкомнатная квартира?! А ведь война давно кончилась!

— Двух! Двухкомнатная! А третья — мой балкон!

В глазах учительницы было понимание всей сложности жизни. Ребёнок привык к двойкам, учителя привыкли к нему, мать дышит по Бутейко... Балкон — это не русская печь посреди хаты, поэтизированная в народных сказках. Балкон — это стекловата, бетон, железо. Но учительница верила, что наступит время, когда у каждого будет своя спальня и книжная полка — как самое ценное.

— А когда отец меня учил разговаривать, — веснушчато улыбался Игорёк на следующем уроке, — он говорил мне: Скажи «мама». Скажи «папа». А я молчу.

— Это когда? — учительнице показалось — вот она нашла к ребёнку ключ, нашла источник добрых чувств. — Сколько тебе лет было?

— Не знаю. Я ещё не говорил. Бабушка рассказывает мне всегда про это. Я не говорю, молчу, а отец опять: «Скажи МА-МА, ПА-ПА». Я молчу. А он: «Ну и дурачок ты!» И я заговорил: «Дуачок? Дуачок! Дуачок...» Так и научился говорить, — смеётся Игорёк.

Урок закончился.

Села Зоя Ивановна за письменный стол, открыла тетрадку с домашними заданиями. «Какие люди вам особенно нравятся?» — спрашивалось в упражнении. Спотыкающимся почерком Игорь писал: «Мне нравятся честные люди. И люди, которые жалеют других людей. Я не люблю войну». Ей захотелось увидеть и Игорька, и всех людей счастливыми. Она поставила пятёрку.



Самолёт набрал высоту — тысяча метров. Теперь надо встать, подойти к открытому люку и сделать шаг.

Ветер, ветер на всём белом небе... Волосы закрывают глаза, обвиваются вокруг шеи. Девушка руками и ногами уперлась в холодный металл. Инструктор нагнул её голову и толкнул в спину. Жуткий звериный вопль, заглушив рёв мотора, ворвался в салон, где двумя рядами, глядя друг на друга, сидели наготове парашютисты.

Изо дня в день объяснял инструктор: как выходить из самолёта, что делать, если подхватит входящий поток; как правильно принять за площадку приземления водоём; как натянуть стропы и отклониться от высоковольтных проводов, чтобы не повиснуть серой глупой вороной.

Маленькая голубоглазая женщина выходила третьей. Боясь, что страх настигнет раньше, пока она будет идти по качающемуся салону, вдруг стремительно рванулась к двери. И не успела испугаться. Страх не догнал. Небо?!

Она в свободном падении: 266, 267, 268. Прочитала и... дёрнула за кольцо парашюта. Её встряхнуло таким динамическим ударом, что если и был страх, то его вытряхнуло, как пыль. И вдруг завертелась под куполом, закружилась. Что это? На миг остановилась, казалось, только для того, чтобы с ещё большей скоростью завертеться в другую сторону.

«Так будет до конца? — было второй мыслью. — Перехлест строп? Или восходящий поток?» Вокруг было небо: внизу, вверху и по всем четырём сторонам. Ощущение неизвестности не пугало, оно влекло, как притяжение земли.

У некоторых женщин тысячи прыжков... И страх для них — пыль. Приземлились, стряхнули пыль и — на новый прыжок. Но это был прыжок первый! Самый яркий, запоминающийся, стремительный! Собственно, не о прыжках с самолёта речь, в этом лишь сравнение или метафора, которая поможет рассказать главное, что можно раскрыть только на исповеди.

Кто из нас не наблюдал, как мужчины, устравив громкие споры, собирают вокруг себя прохожих, но редкая женщина остановится возле них. Кто больше потрудился над увеличением дистанции между женщиной и мужчиной — природа или исторический опыт социума? Скала непонимания... Роды, беременность, зачатие, кормление ребёнка. Первые толчки младенца, который еще не рождён... Это была вторая беременность... Маленькая женщина узнала об этом раньше врача — сразу, в момент зачатия. Она знала этот день.

— ...Нам нельзя сегодня быть вместе, — сказала она.

— Ничего, — он лаской расслаблял её, словно усыпляя.

— Может появиться лялька, если мы будем так... — она ещё сопротивлялась, но воля предательски покидала её в этот миг.

Любовь такая же разная, как листочки на деревьях, как паутинки отпечатков пальцев. Потом она поймёт эту всепобеждающую слабость. Любящая женщина, как ребёнок, беспомощная и доверчивая. Она вопреки всему опыту своей жизни не могла противиться любви. И не могла выйти из-под его воли.

— Я понимаю по-русски. Я буду осторожен.

Открой глаза! Ты видишь, кто перед тобой?

Один француз рассказывал, что у его жены был любовник-мусульманин, что он на «нет» кивал головой, а на «да» упрямо качал из стороны в сторону. Все мужчины — мусульмане. Разве мы или они виноваты в том, что между нами непосильная человеческому разуму дистанция? В одни мгновения женщина — рабыня, в другие — Богоматерь. Если бы выполнялась только одна заповедь, на земле войн бы не было... Но это всё мужская философия, женское дело — подробностями деталей, мелкая вышивка узора.

Когда подтвердилась беременность, беспокойство охватило её. Она положила будущему отцу ребёнка в записную книжку небольшой календарь с изображением иконы Казанской Божьей Матери. И сама пошла в церковь. Она хотела услышать что-то важное, решающее для себя. Но за два человека до неё священник прекратил исповедь, видимо, нужно было прийти раньше. Если бы выполнялась только одна заповедь — на земле был бы рай.

Они жили в Москве временно, ничего нет вне времени. Но природа воспротивилась, и она как будто забыла о смене осени зимою, наивно веруя, что мгновение остановится.

«Оставляете ребенка?» — снимала перчатки врач. Ужасающий в своей обыденности вопрос. Состояние беременности — как идея бессмертия. Словно за девять месяцев суждено прожить сжатый до невозможности отрезок времени длиной в прежнюю жизнь. События сжимались, словно несли куда-то сверхземная скорость. И как бороться с тем, от кого зависит всё, от кого зачала ребенка? Кто внушил ей, что одна она не выдержит ни беременности, ни родов? Она убеждала его, что у них будет сын. Он говорил, что он не Руссо. А при чём тут Руссо? Говорят, что он оставлял своих детей в разных приютах на воспитание. И Марина Цветаева потеряла дочь в приюте. Девочка умерла от голода. Что же происходит со страной, где дети страдают в приютах? А женщины хотят рожать, но боятся, что их дети умрут от голода?! Убей в себе самой ребёнка, и тогда тебя будут любить. Здесь вам не старуха-процентщица, которую Родион Раскольников убил ради идеи всеобщего братства и равенства. Здесь нет никакой идеи справедливости, здесь только одна любовь: «Ес-

ли ты сделаешь аборт, я женюсь на тебе». И женится. А она, бедняжка, рада до смерти, про аборт свой и думать, и страдать забыла. Он уж и бьёт её, и ругает... И вот она уже смирилась.

Всё стерпит душа русской бабы, лишь бы замужем быть. Что? Насмешки больше побоев? Потом эти интердевочки... Они родились от смиренной русской бабы, которую били и пугали побоями. Теперь эти дочки, эти интердевочки так крутят своими мужиками! Ух! Пыль и перья! Где уж бывшим амазонкам?! Левая грудь выжжена. Копьё в руке. И вот уже один спился, другой разбил, третий не то зверя хотел на охоте убить, не то сам в себя по замыслу стрельнул... Тут не леди Макбет Мценского уезда, тут русские интердевочки, тут диалог идёт на всех европейских языках. Здесь не идея, здесь всего-то лишь идеяка убеждённого холостяка сработала... «Я не могу остаться здесь, я должен ехать домой». Здесь любовь к Родине. «Ты знаешь, мне надо будет ехать через девять месяцев. Я не смогу полюбить эту страну заново, я зря приехал. Если будет ребёнок, надо будет ехать вместе. Там война». Она переживала войну вместе с ним и согласна была ехать на войну, в Сибирь, в открытый океан.

Динамический удар был достаточно силен — женщина открыла голубые, как небо, глаза. Теперь она болталась в подвесной системе на плохо затянутых лямках и кружилась над землей на высоте чуть меньше тысячи метров. Чёртов парашют! Но вот вертушка стала затихать. Небо и земля слились в тишине. Золото осени плавится в огненном закате. Она плывёт по ярко-синему небу. Птица? Нет, она как маленькое белое облачко. Внизу, в чистом воздухе осени — разноцветные кубики полей, зелёно-голубая лента реки. Настоящий полёт — это когда тихо кругом, не ревёт, не стонет мотор. Тихая, чистая красота, словно мир не сотворён, словно всё это на картине и греха не познали люди.

Вторую беременность она переживала, как первую. На то, что вздрагивало, шевелилось и затихало под сердцем, она смотрела как на живого ребенка, который там, далеко внутри неё спрятан от всех.

«А может, он садист? — усомнилась в его страстной любви подруга беременной жен-

щины. — Рожай для себя, — сказала как врач-психиатр. — Ты пропустила все сроки. Теперь этого делать нельзя...» Но на всякий случай достала ей справку о необходимости аборта по медицинским показаниям.

В самый последний момент каждый остаётся наедине со своей памятью, со своей волей, со своей свободой, со своей совестью.

И был вечер. Их было два человека в палате: юная высокая девушка и женщина с голубыми глазами. Каждый хотел, чтобы эта операция прошла побыстрее. «Вам будут делать заливку завтра, — пообещала акушерка старшей женщи-не. — Мы сделаем. Мы обязаны это сделать».

А утром — УЗИ. «Мальчик!» — встревоженная радость последней надежды. Две женщины встретились глазами у компьютера. «Ну что вы, с голода умрёте, на кусок хлеба, что ли, не заработаете?» Пациентка закрыла глаза и молчала.

И был день. Кресло операционной как эшафот. «Хорошие воды», — анализировала акушерка. Она не знала, что чувствовала женщина, когда огромным шприцем из неё вытягивали то, что сохраняло жизнь ребёнку, и вводили раствор, известный только посвящённым медикам. Медикаментозное одурманивание? Она и сейчас не знает, какой ей сделали укол за полчаса до эшафота.

Динамический удар, вертушка. Всё уже было в первом прыжке. Зачем второй? Вот она вновь вышла из самолёта, как будто спустилась по трапу. Приземлилась она вместе с самолётом, почти на крыло ему. Мегафон гремит: «Тяни стропы на себя! Тяни стропы!» Кто-то бежит. Помогает ей отстегнуть парашют. А она возбуждённо улыбается — не тащиться по скошенной стерне со свинцово-тяжёлым парашютом.

«Что ты видишь, когда выходишь из самолёта?» Инструктор не глядит, а наблюдает, он бывший военный лётчик, много пережил смертей, и далёких, и близких. Сейчас у него два сына-парашютиста. Молчаливое недоумение женщины он прочитывает по-своему: у неё словно растопыренные пальцы. Инструктор не поэт, он не считает, что парашют — это прыжок в стихию небо-земля. Просто сразу увидел, что в её глазах застыла безысходная брошенность.

Брошенная женщина — позор человечеству.

Разговорился с ней после первого прыжка: «Ты прыгаешь с открытыми глазами или с закрытыми? Глазам больно?» Поднимался ветер, и инструктор разрешил прыгнуть в последний раз. На этот раз она держала глаза открытыми с таким напряжённым вниманием, что, выходя, зацепилась ногой за обрез двери. Теперь казалось, что ветер стремится забросить назад в самолёт. Она только теперь увидела, как покачнулся горизонт. И земля, и небо начали переворачиваться одно в другое. Но она всё равно не испытала страха. Вероятно, красота неба сильнее страха. Кто испытывает подавляющий душу чёрный страх, не может видеть голубую красоту неба. А может быть, это любовь к небу? Как у инструктора — он до утра может говорить о небе и о своих самолетах.

«Ты хочешь меня или ты хочешь ребенка? — мужчина-мусульманин задавал обоюдоострые вопросы. — Если сильно любишь — рожай, если не сильно — не рожай...»

Всё, толчки изнутри прекратились. Сделали заливку, из операционной отвезли на каталке в палату — теперь надо ждать. Лежать, сжав плотно ноги. Схватки могут длиться вечер, могут продолжаться вечер-ночь, могут выматывать вечер-ночь-день...

Если мужчина в поиске истины устремлён к Богу, то женщина — к мужчине? А если мужчина не устремлён к Богу? Ребро — это грань многоугольника, это составная мира, не ребро мужчины.

Она положила ему маленькую иконку, размером в годовой календарь. Казанская Божья Мать прижимает младенца-Христа, а он, невесомый, чистый, взирает на грешный мир. Мусульмане не отрицают Божью Мать, так почему же он оторвал ножки младенцу, искромсал их, слитых воедино. Она искала в случайных мелких клочках бумаги какой-то смысл, склеивая изображение. Почему женщина захотела подчиниться и стать слабой? Когда страх поработил её? Буря душевного смятения перед родами — что это? Боязнь оказаться без помощи в тот миг?

Ослепительный свет другого мира — первое, что пробивается в сознание после наркоза. «Всё, плазма». На руке тонкая, как вена, трубка с кровью — знак, что она вернулась из другого мира. «Здесь кто-нибудь есть? — страх возвращал к

жизни. — Где я?» Тело наполнилось ледяным ужасом и трепетом — мороз одиночества, холод смерти был где-то рядом. «Кто здесь?» Вокруг тишина сверкающая. «Лежи тихо! Руки убери...» Всё белое. И человек вдали за столом ослепительно белый. Операционные лампы спяют, как кварцевые горы. Утро пришло вялое и болезненное. Не заря, а какая-то незастывшая масляная краска стекала мелкими красными каплями на землю до черепа Адама.

«Как себя чувствуете?» — совершала обход своих больных врач-гинеколог. «Нормально», — прошептала женщина. Она лежала расплюснутая на подушке, не испытывая ни чувства скорби, ни благодарности, — всё было растворено в жуткой слабости. Сгустки плазмы обретали то одни, то другие формы человеческого тела. «Уже всё нормально?» — укоризненно-насмешливая улыбка чертовски шла к сильно накрашенным глазам энергичной женщины в белом халате.

«Смотри, куда несёт!» — кричал инструктор с земли в мегафон. Он думал о ней не как о парашютистке, а как о женщине. Инструктор понял, что она пережила палачество маньяка, удовлетворяющего свою маниакальную страсть убивать.

Маленькая женщина перекрестила руки, ухватилась за ремни повыше, изо всех сил старалась развернуться в подвесной системе. Но ей никак не удавалось дотянуть до ста восьмидесяти градусов. Девяносто, девяносто пять, сто, сто десять... Всё! Сил не хватает. Предметы начинают приобретать объём. Картинка внизу под тобой как бы заполняется жизненной плазмой: словно ты прилетела на землю для того, чтобы вдохнуть в неё жизнь.

И грянул гром. Капельки плазмы превратились в струи ливня, смывая грязь с асфальта, пыль со стёкол. «Не верь, не верь, не верь. Ты всё правильно делаешь. Не верь», — маленькая женщина вспомнила слова старой акушерки в поликлинике, ей было достаточно однажды увидеть этого мужчину.

Когда она, наконец, вышла из этой больницы-роддома на улицу, в небе светилась радуга. Радуга! Цвет в чистом виде, как камертон. Она шла вперёд, навстречу радуге, под её светлый купол, — спешила, ей было чудовищно быть ря-

дом с этой больницей. Там по коридору носили живых новорожденных младенцев. Там матери их кормили. Маленькая женщина ощущала себя пустой, иногда даже какое-то чувство лёгкости охватывало её, словно раньше в ней был не ребёнок, а некий сгусток плазмы — адов огонь, который превращает человека в раба. Раб — это человек другой цивилизации, другого времени, другой эпохи. Если рабство возможно вернуть, то всё — плазма... Но радуга в небе, обнимая мрачный тяжёлый город, сохраняла божественный свет над ним.

«Этого делать нельзя, — встретила её подруга-врач, наблюдая страшную болезненную опустошённость. Она понимала — убита не вредная старуха-процентщица, убита чистая живая душа ребёнка, и неважно, где она — внутри тебя или вне твоего тела. — Я же говорила, тебе этого делать нельзя... Опять воюют. Кровь — ритуал. Жертвоприношение — подвиг духа. А был ли мальчик? — новым учением подруги был эзотеризм, шестнадцать типов поведения человека. — Психология не даёт ответ, она заставляет ещё раз взглянуться в себя».

Земля! Земля под ноги! Она приземлилась на бочок, как учил худенький мальчик-парашютист, когда помогал проверять и зачикивать стропы. Лёжа в колючей, по-осеннему стриженной пшенице, из последних сил вытягивала она нижние стропы, гася купол.

С каким азартом рвётся ветер протащить маленькую женщину по стерне, как по тёрке для овощей! Какая зловещая игра на ветру! Рывок. Вскочила. Забежала вперёд и, раскинув руки, упала в белые волны шёлка. Всё — тишина. Над ней чуть левее течёт по высоковольтным проводам смерть.

Смерть — это плазма, в которую превратится наше тело после жизни на земле, когда покинут его душа и высший разум. Как хорошо, что маленькая женщина не видела этой высоковольтной смерти, когда была погружена в красоту между небом и землей! Адский трепет стёр бы всё! Страх подобен смерти, он убивает красоту. Купол шевелился вокруг, как пламя белого огня. Теперь надо встать и идти. Как радостно встречают парашютисты друг друга — будто они одержали победу! Но в маленькой женщине не

проснулся самолюбивый азарт спортсмена — она не знала, зачем ей нужны эти прыжки. Непонятное чувство, которое трудно определить словами, возникло в ней: желание из плазмы, которую теперь она видела вокруг себя, создавать мир красоты. К ней наконец стало возвращаться желание жить, но каждое живое светлое чувство требовалось извлекать из плазмы, очищать от коросты грехов жизни. Как восстановить себя заново, если у человека нет даже страха на высоте тысяча метров?

Женщина завидовала крику юной высокой девушки, которая была там — у двери самолёта. Так кричат, когда рожают, когда схватки переходят в потуги — кричат с болью и радостью, не осознавая ничего, по-звериному, слепо повинуюсь инстинкту деторождения.

Ещё через год маленькая женщина узнала, что чёрный человек, сына которого превратили в плазму, погиб. Она никогда с ним не увидится, видно, Богу не угодно было оставить после него сына. Он умер. В маленькой женщине с этой вестью погасло напряжение, покинула затаившаяся в глубине души ненависть, притупилась обида, исчезла жажда мести.

Она перестала истязать себя памятью. «Если сильно любишь — рожай. Если сильно любишь — можешь быть одна». Его смерть примирила её с жизнью? Она была на исповеди, чтобы рассказать всё. «Больше так не делай», — сказал молодой добрый священник, а она готовилась, что наложат епитимью. Или теперь её епитимья здесь? У обреза двери самолёта?

В тот взлёт парашютист-мальчик взял с собой в небо фотоаппарат, только что подаренный на день рождения. Восторг и изумление! Как он мог знать, что площадкой для приземления будет для него стеклянно-ледяная гладь воды? Словно невод, вытаскивая свой парашют из запруженной неглубокой реки, показывал всем, сколь надёжно он упаковал свой подарок в полиэтиленовый непромокаемый пакет. «Зачем тогда ты брал его в небо? — спросил инструктор. — Почему не тянул передние стропы, когда видел, куда несёт? Что вы летите с растопыренными пальцами?! Работать надо в небе! Сжаться в кулак». Инструктор не понимал, что в этом и заключается парадокс

изумления и восторга юного парашютиста: приземлиться в водоём с заранее запакованным фотоаппаратом. А юная высокая девушка нашла в его парашюте маленькую золотую рыбку. Краснопёрка, может быть, и заговорила, если бы не успела высохнуть в шелковой пелене купола.

На берегу на траве лежал улыбчивый человек неопределённого возраста. Он не укладывал парашюта и не выходил на взлётную полосу. «Всё плазма», — спокойным бесстрастным голосом выражал он свои мысли, лёжа на густо-зелёной, не осенней траве. Женщину голубоглазую взволновало пересечение их мыслей. Его глаза, словно из слюды, и очень светлые редкие волосы. Он разговорился: его подмывало на такие подробности, от которых кружилась голова, будто укачивает в самолете. «Я водолаз, — напомнил он на всякий случай. — Если вы утопнете и ко дну прилипнете — полежите день-другой, а потом выйкнете...» И не смеялся, и никто не смеялся: ни инструктор, ни мальчик, ни юная девушка. Все помогали сворачивать мокрый, тяжёлый от тины и водорослей парашют. «А вам удалось хоть кого-нибудь спасти?» — спросила высокая девушка водолаза. «Нет... Они слишком быстро тонут. А кому выплыть — выплывают сами... Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Одиночество не страшно, неприглядна опустошённость, уродлив однолико-одноцветный

сгусток. Если Земля прекратит своё существование от ядерного взрыва, то, каменая, огненная лава будет обретать сиреневый цвет багульника. Теперь вся жизнь — епитимья! Сгущается, как шаровая молния, мысль: пока плазма не превратится в многообразии мира, а прекрасная картина бытия не наполнится объёмом значений и смысла — всё будет зря.

Самое трудное в прыжке — приземление.

Земля! Земля идёт! Под ноги! Трудно устоять, когда сильный ветер.

Аэростат — другое дело — настоящее воздухоплавание! На парашюте всё время землю ловишь, а там плывёшь.

А французы-парашютисты приземляются задом, кувыркаются и потом встают.

Примечания

- ¹ Нешвенный — бесшовный.
- ² Мартирос Сарьян — армянский художник.
- ³ Муэдзин — служитель мечети.
- ⁴ «Сестра, всё хорошо?»
- ⁵ «Сестра, всё хорошо? Или нет?»
- ⁶ Имеется в виду Доротея Кесарийская. См. легенды о ней.

Надежда Митрофановна СЕРЕДИНА — прозаик, публицист.

*Окончила Воронежский государственный педагогический университет
и Высшие литературные курсы*

при Московском литературном институте им. М. Горького.

*Публиковалась в журналах «Москва», «Роман-газета. XXI век»,
«Мир женщины», «Подъём» и др.*

*Автор 25 книг, среди которых «Подростки», «Тайна личной жизни»,
«Чёрная птица на белой сирени», «Пленницы грехопадений».*

*Отмечена премией журнала «Мир женщины» (2001)
за лучший рассказ, лауреат областной премии им. И. Бунина (2002),
призёр 6-го Международного конкурса им. М. Волошина (2008).*

Главный редактор газеты «Художественная литература и жизнь».

Член Союза писателей России.

Живёт в Москве.

